



Катя Михалина

Тракт

Катя Михалина

Тракт

<https://litres.ru/74468517>

SelfPub; 2026

Аннотация

Декабристы против зомби.

Бунтовщик с семьёй едут по кандальному тракту полному ужасов к месту ссылки.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Тракт

Глава

Не было дня, чтобы я не вспоминал о них. Не было ночи, когда б они не приходили впятером и не становились у изголовья моей постели, чтобы напомнить о том, кто я, и о тайне, которую я храню вот уже восемьдесят три года. Задумчивый отец, красавица маман, Миша с маленькой Мусей и хохотушка Груня. Я уже чувствую дыхание смерти, последние мои силы на исходе, и пришло время предать бумаге эти воспоминания и поведать о страшной осени 1827-го. Закончив, я оставляю эти записки на столе рядом с кошельком, где храню свои скудные сбережения.

Путник, набредший на мою обитель, прошу тебя взять деньги себе в плату за услугу. Похорони мои останки под сосной, что над обрывом у реки. Могила уже готова. Поставь крест. Его ты найдешь в сенях. Не пиши на кресте, что под ним покоится чернец и отшельник Онуфрий. Напиши просто: «Здесь лежит Саша Олемской. Помолитесь о его грешной душе». Записями распорядись по своему усмотрению. Все, написанное ниже, каким фантастичным бы оно не казалось, чистая правда, о чем я и свидетельствую, стоя на поро-

ге жизни вечной.

Граф Александр Олемской

30 декабря 1910 года

Наш обоз, насчитывающий около тридцати телег, нагруженных нехитрым скарбом, медленно продвигался по великому кандальному пути в глубь Сибири, везя несчастных, молчаливых людей, лишённых званий, имущества и имени в Иркутск, откуда им суждено было отправиться каждому на своё, предписанное на веки вечные, место ссылки. Конвой, охранявший нас, насчитывал трёх офицеров, полтора десятка солдат, да возникших по числу телег в обозе. Ссылные были по большей части холостыми или добровольно оставившими своих близких, побоявшись подвергнуть их гонениям, но встречались и семейные. Некоторые ехали в сопровождении жен, светских красавиц в недалеком прошлом, и даже детей. Детей этих, кроме меня, моего старшего брата и маленькой сестренки, в обозе было около дюжины. Был даже один младенец родившийся уже в дороге. Но он так жалобно пищал от голода (у его матери, княгини Дадиани, с прекрасными восточными глазами, совсем не было молока), что пришлось оставить его в одном из сёл, через которые шёл наш обоз. Еды было в достатке, но что то была за еда! Черный хлеб, каша с салом и жидкая похлёбка с крупой. Пирожные на фарфоровых блюдах, как и бархат с шелками для всех нас остались в прошлом, на смену им пришла простая и гру-

бая крестьянская одежда, деревянная ложка, еда из общего котла и ночёвки под телегой. Такова была цена за восстание, поднятое против царя. Но мы не роптали. Царь, милостью своей даровал бунтовщикам жизнь, и позволил их семьям при желании следовать за мужьями и отцами. Нам ли было желать лучшей участи?

Вряд ли мой отец, увлекавшийся химией и медициной, круглый год живший в уединенном поместье и деливший свое время между библиотекой и лабораторией, принимал активное участие в восстании. Связанный узами юношеской дружбы со многими из бунтовщиков, думаю, он знал про их план, участвовал в обсуждениях и не донёс на них, тем самым подписав себе приговор. То, что маман, моя несчастная, хрупкая и преданная маман, последует за любимым мужем хоть на эшафот, не у кого не вызвало сомнений. Нас, детей, поначалу хотели оставить на воспитание бабушке, вернее, бабушка, урождённая Салтыкова, из московских Салтыковых, настаивала на том, что это единственно разумное решение в сложившихся обстоятельствах, но этому решительно воспротивилась маман, а отец, робкий и нерешительный в обыкновении, её поддержал и проявил в этом неожиданную настойчивость. И сейчас, я, брат Миша, считающий себя совсем взрослым, ведь ему уже исполнилось двенадцать, трёхлетняя Муся, Груня, Мусина нянька, любившая нас и не пожелавшая разлучаться с нашим семейством, и маман, тряслись по колдобинам в телеге. Отец шёл рядом, слушая

рассказ служивого, нас сопровождавшего.

По обыкновению, я не вслушивался в их беседу. За два месяца пути, мы привыкли и даже как-то сроднились с нашим охранником и тюремщиком. Это был незлой дядька по имени Прохор Игнатов, с рыжими от табака бакенбардами, окающий и смешливый. Отца он величал «ваше сиятельство», но обращался к нему на «ты», перед маман робел, нам, детям, по случаю, совал мятные пряники с прилипшей к глазури махоркой и на привале строгал для Муси грубых кукол и коняшек. За время, проведенное бок о бок, они с отцом успели обсудить и поспорить обо всем на свете, и вели свои разговоры уже по третьему кругу. Сейчас же, Прохор Игнатов был встревожен, рыжие усы его топорщились, он яростно жестикулировал, стараясь доказать что-то отцу. Таков вид его был непривычен, и я стал прислушиваться.

Недавно обоз останавливался возле почтовой ямы, где нас накормили, а Прохор купил табака себе и сахарного петушка для Муси. Там же он потолкался среди служащих ямской гоньбы и принёс от них странные и пугающие вести. Говорили, будто, свирепствует в этих краях странная хворь. Заразившийся ею впадает в лихорадку, покрывается язвами и сгорает в три дня. И лекарства от этой хвори нет никакого. Там, дальше по тракту, не одно село хворь выкосила. А еще рассказывали о совсем уж чудных вещах. Будто, умершие от этой лихорадки, только выглядят мёртвыми, а как отпустит первое окоченение, встают и уходят в тайгу. Куда идут, где

бродят — один Бог ведает. В такие-то странности, самому Прохору верится с трудом, но ямщики, а всякий знает, отчаяннее люда, чем ямщики с Московско-Сибирского тракта, не сыскать, так эти самые ямщики божились и крест целовали, что своими глазами этих хворых в тайге среди деревьев видели и страху натерпелись. Отец возражал на то, что, мол, такая болезнь науке не известна, а если наука чего-то не знает, то этого на белом свете и быть не может. А ямщики люди не только отчаянные, но и пьют пуще сапожников, вот им и мерещится всякое с пьяных глаз. Да и приврать любят для красного словца, это, дело известное, отличительное свойство их ямщицкого сословия. Прохор кипятился, махал на отца руками и называл того Фомой Неверующим.

Ночью на привале, когда мы устроились на ночлег под телегой, отец и Прохор снова спорили, а возничий, от которого мы и слова в пути не слышали, подкидывал дров в костер и качал головой, косясь на этих двоих. По утру и он, и Прохор Игнатов уже не встали. Оба метались в жару, стонали и скрипели зубами. Бледные их лица, искаженные страданиями, покрывали бусины пота. Больше никто не заболел, и обоз тронулся дальше. Дабы избежать распространения хвори, нас решено было оставить с тем, что мы догоним остальных, когда больным полегчает.

Так мы остались одни, чтобы никогда не встретить вновь тех, кто разделял с нами тяготы на протяжении долгих месяцев пути из Москвы в Сибирь.*** Сентябрь до сей

поры радовал тёплой и ясной погодой, и, хотя ночами уже подмораживало, настоящее осеннее ненастье ещё не наступило. День прошёл в волнениях и попытках облегчить страдания наших больных. Молчаливый возникший, имя которого стерлось из моей памяти, лежал в беспмятстве, а Прохор Игнатов метался и кричал в бреду, порываясь куда-то идти и не имея сил подняться. На лицах обоих наших спутников выступила алая сыпь, которая на глазах воспалялась и превращалась в багровые нарывы. От больных несло прелью и жженым сахаром, находиться подле них было тяжело. К вечеру затянул мелкий промозглый дождь. Дорогу размыло, и место нашей ночёвки под телегой превратилось в жидкую грязь. За день мы с Мишей собрали достаточно хвороста, сложив его у подножия могучего кедра. Широкая крона кедра немного защищала от холодных струй, и костер решено было развести там. Муся спала, по самый нос укутанная в овчинный тулуп. Оставив женщин поддерживать огонь, отец отправился в лес за лапником для навеса, взяв с собой Мишу. Я хотел пойти с ними, но отец запретил, повелев остаться защищать маман с Груней и собирать траву для лошадки. Вернулись они затемно. Никто из нас навесов или шалашей никогда не строил, но на помощь пришла Груня, выросшая в деревне, и дело заспорилось. Переночевали ужасно. Капли шипели на дровах, и костер почти не грел, лишь дымил. Навес, хоть и удерживал воду, льющую сверху, но никак не защищал

от косого дождя, задуваемого ветром со стороны. Больные бились в горячке и стонали. Отец не ложился и неотлучно был при них, смачивая их воспаленные рты водой из фляги. Мы вымокли и продрогли, Муся капризничала, а наступившее утро не принесло надежды на перемены в погоде. Дождь все так же сыпал с низкого, затянутого серой пеленой небосвода, мокрая, понурая тайга обступала раскисший тракт. К полудню отмучился безымянный возничий, следом за ним отправился в царствие божие и хороший человек Прохор Игнатов. Рыть было нечем, и отец принял решение снести покойников в овражек. Сгребая руками размокшую землю, мы, как смогли, засыпали тела, надеясь, что дикие звери не разроют неглубокую могилу и не потревожат останки наших спутников. Для памяти над могилой установили крест из двух палок, скреплённых лентой, которую маман оторвала от нижней юбки. Отец прочитал молитву. Поели кое-как. Хлеба оставалось мало. Маман убрала половину, разделив между нами остаток. —Дорогу размыло, далеко не уедем. — сказал отец. — Заночуем здесь. Даст Бог, к утру дождь перестанет. Маман взглянула на него с тревогой, но промолчала, лишь крепче прижав к себе Мусю. —Пойдем, Миша. Нужно нарубить лапника и перестроить наш навес. Есть у меня идея. Они ушли. Мы с Груней напоили лошадку и занялись костром. Было ли мне страшно? Не припомню, что я боялся за себя. Я был ребёнком, а в таком возрасте

лишения переживаются проще. Я очень жалел маман и Мусю. Родителям приходилось куда хуже, особенно отцу. Думаю, он тысячу раз проклял себя за то, что не нашёл в себе сил порвать с семьёй, и что по его вине мы оказались в столь плачевных обстоятельствах. Маман, несчастная маман, первая красавица Москвы, ещё вчера блиставшая на балах, закутанная в серую бабью шаль поверх душегрейки, безропотно сносила ненастья, полагая, что это все же лучше, чем разлука с любимым мужем или детьми. О чем думал Миша? Мне так и не выпало расспросить про то брата. Дождь то стихал, то принимался с новой силой. Руки коченели, а тело под вымокшей насквозь одеждой была крупная дрожь. Под новым навесом было почти сухо, и со временем, прижавшись и согреваясь от тел друг друга, мы задремали. Разбудил меня не шорох, звук треснувшей ветки или звериный рык. Наоборот, проснувшись от внутреннего толчка, я поразился тишине, укрывшей тайгу как одеяло. Дождь перестал, в костре не постреливали дрова, ни одна ветка не шевелилась от дуновения ветра. Вместе с тем, на меня навалилось чувство нереальности происходящего, как бывает во сне. Я привстал и огляделся. В предрассветных сумерках можно было разглядеть очертания деревьев, туман, стелющийся между ними и какие-то силуэты, бредущие в этом тумане. Силуэты двигались так медленно, что приходилось долго всматриваться, чтобы уловить изменения в их положении. Но они двигались. В ближайшем я, к своему

ужасу, узнал помершего давеча Прохора. От накотившего страха сердце окатила ледяная волна. Протянув руку, я тронул отца за плечо, когда тот открыл глаза, прижал палец к губам и кивнул в сторону леса. Отец сел, некоторое время он наблюдал за туманом, затем, стараясь не шуметь, поднял всех. Пока папа с Груней запрягали, а маман старалась не дать Мусе заплакать, мы с Мишей бегом перенесли вещи в телегу. Тронулись, поминутно оглядываясь. Колеса вязли в глине и лошадка выбивалась из сил, таща по размытой дороге тяжелую телегу. Над тайгой занимался рассвет. Солнечные лучи били сквозь кроны, разгоняя клочья тумана, обнажая то, что скрывалось в нём. Между стволами деревьев, брели человеческие фигуры. Это было кошмарное зрелище. Одежда на них давно превратилась в лохмотья, кожу покрывали гниющие язвы. У одного из глаза торчал сучок, но он шел, не обращая на него никакого внимания. У другого плоть с лица свисала лоскутами, обнажая кости черепа. Я видел женщину с разорванным животом, она брела, топча собственные внутренности, и видел другую, с разбухшим трупиком младенца на руках, которого она прижимала к отвислой груди с чёрным разложившимся сосцом. Все они двигались по направлению к нам, плелись вслед за нашей телегой. Мы ехали медленно, но все же куда быстрее, чем могли передвигаться эти живые трупы. И одно это спасало нас до сих пор. — Крепитесь. — Успокаивал нас отец, и натягивал вожжи. Он

пытался говорить спокойно и уверенно, но голос звенел, предавая его. — Все же это не глухой угол, а проезжий тракт. Даже если никто не встретится, часах в десяти будет почтовая яма. А там люди. То ли отец ошибся в расчетах, то ли ехали мы медленнее, чем казалось, но ни через десять часов, ни позже, до почтовой ямы мы не добрались. Деревни, что мы проезжали за это время были безлюдны и заброшены, и навстречу нам не попало ни одной телеги. Не было слышно птичьих голосов, лишь шорохи и шелест, с которыми шла по лесу гниющая армия мёртвых. На тайгу опускалась ещё одна ночь.***Смеркалось. Деревья по обе стороны от дороги отбрасывали густую тень, и копошение тел в этом мраке было особенно отвратительным. Мусю, капризничавшую весь день, сморило. Поднявшийся ледяной ветер норовил пробраться под одежду и выстудить последние крохи тепла. Отец, пытавшийся поддерживать нас разговорами весь этот долгий страшный день, сдался и замолчал, только погонял усталую кобыленку, тащившую телегу из последних своих лошадиных сил. Сил этих оставалось немного, и мы каждую минуту опасались того, что лошадка наша падет, оставив нас без последней защиты и надежды. Уставшие, замерзшие и отчаявшиеся пешими мы не протянули бы и четверти часа. А мертвые продолжали идти. Выходили из под сумеречного полога тайги, ковыляли за телегой, протягивая нам вслед скрюченные, чёрные от мокрой земли руки и неизбежно отставали. Их место

занимали новые, будто само наше присутствие, звуки дыхания и биение сердец пробуждали их от смертного сна, толкая на новые попытки догнать, удержать, согреться от чужой жизни и через это заново ощутить себя живыми. Колеса телеги запрыгали по бревнам накатанного моста, переброшенного через неширокую речку. Мутная после дождя, она весело журчала по своему каменистому ложу. Здесь, на мосту, острый запах речной воды перебивал дух жжёного сахара с примесью гнили, который распространяли вокруг себя ходячие трупы. Краткий момент облегчения сменился паникой. Перед мостом дорога делала поворот, и нам не было видно того, что ждало нас впереди. Впереди же, на расстоянии в полверсты, едва переставляя одеревеневшие ноги, навстречу нам двигалась ещё одна толпа мертвых. Привстав, отец посмотрел вперед, затем оглянулся. Тихонько заплакала Груня. Мама прижимала к себе спящую Мусю и беззвучно шептала молитвы. Я бессознательно ухватился за руку брата Миши. Он сжал мою ладонь. В расширившихся глазах Миши плескался страх, а ведь отважнее человека, чем мой брат, мне встречать не доводилось. Глядя на него, и я испугался по-настоящему. Весь предыдущий день моя фантазия выдавала мне картины счастливого избавления, заканчивавшийся непременно нашим возвращением в Москву. В этот момент я, наверное, впервые понял, почувствовал, что все может закончиться дурно. —Держитесь крепче, — бросил отец и натянул

вожжи. Лошадь (откуда только силы взялись?), напуганная не меньше нас, резво рванула вперед, и мне показалось, что отец отважился на сущее самоубийство, что он хочет врезаться в толпу и попытаться проскочить её насквозь. Однако, я ошибся. Отец заметил то, что оставалось скрытым от нас. Сразу за мостом, почти невидимый с тракта, находился съезд на просёлочную дорогу. Узкая, в две колеи, заросшая сорной травой, местами затопленная, тем не менее, она не производила впечатление заброшенной. Нам оставалось только молиться, чтобы дорога эта вывела нас к живым людям. Спасительный путь, открывшийся нам в последнее мгновение перед неизбежной гибелью, имел и недостатки. Лес вплотную поступал к дороге, ветви деревьев смыкались над ней, образуя туннель. Здесь было темнее. И уже ничто не отделяло нас от тянувшихся из этой тьмы жадных, покрытых язвами, рук с содранными ногтями. Заплакала проснувшаяся от тряски Муся. Отец, знай, подстегивал кобылку, и та не подводила. Маман продолжала молиться, и Груня, вставшая на колени тут же, среди тюков, вторила ей и часто крестилась. Мокрые ветки стегали меня по лицу, и каждый раз мне казалось, что это холодные пальцы мертвецов касаются моих щёк и лба. Если бы не присутствие отца и Миши, клянусь, я бы разрыдался, бросился к маман, ища утешения, как делал это в детстве, уткнулся бы в её юбки, пахнувшие лавандой... Но грубая шерстяная юбка, которую маман носила ныне, пахла

сыростью и пылью, да и мне уже восемь, я мужчина, и просто обязан держать себя в руках. Где-то в глубине тайги раздался протяжный глухой гул, будто великан ударил в гигантский подземный колокол. Звук этот подействовал на мертвецов самым чудесным образом. Застыв на мгновение, они тут же теряли к нам интерес, разворачивались и втягивались в лесную чащу. Вскоре вокруг дороги не осталось никого. Через несколько вёрст дорогу нам преградил завал из нескольких упавших деревьев, судя по всему, рукотворный. Отец спешил и пошел осмотреть препятствие, наказав нам оставаться на месте. Вроде, ничего поменялось вокруг — та же тайга, ночь, успевшая окончательно вступить в свои права, порывы злого ветра, налетавшего с востока, бледная луна, едва проглядывавшая сквозь сплетение ветвей, но чувства подсказывали — где-то поблизости живут, эти места обитаемы. И хозяева появились. Увидев существ, вышедших из-за баррикады, перегородившей проезд, Муся испуганно заревела. Груня вскрикнула и спряталась за спину Миши, тут же мужественно расправившего плечи. Я чуть было не последовал примеру маленькой сестрёнки, и было от чего. На дорогу выходили волки на двух ногах, прямостоящие, как мы с вами. Из ощеренных пастей валили клубы пара. Влажные клыки отражали мертвенный лунный свет, а глаза светились алыми угольками вторя зажатым в лапах, факелам. Волков было около полудюжины, трое окружили отца, остальные двинулись к телеге. Обмерев от

страха, я не сразу понял, что это люди, накинувшие на себя волчьи шкуры, выделанные и сшитые таким образом, что волчья морда оказывалась на уровне человеческого лица. От визитёров пахло дымом и какими-то травами. Когда шедший впереди остальных заговорил, голос его прозвучал глухо и как-то безжизненно, видимо, искажённый маской. — Слезьте. — Скомандовал он и факелом указал на дорогу позади телеги. — Становитесь тут и скидывайте одежду. — Но послушайте, дети... — Начала маман, но была жестко прервана. — Скидывайте одежду. Нас грубо раздели донага, и тщательно осмотрели. Я внутренне содрогался от нестерпимого стыда, злости, собственного бессилия и старался не глядеть на остальных. Отец, насколько я мог заметить при подобных обстоятельствах, так же подвергся этой унижительной процедуре. — Рот. Открой шире рот. — Один из ряженных грубо схватил меня за подбородок и заглянул в рот, помогая себе грязными пальцами и подсвечивая факелом. Ног от холода я уже не чувствовал, тело, против моей воли, била крупная дрожь. Облачиться в своё нам не позволили. Удовлетворившись осмотром, кинули на телегу мешок с тряпьем, в котором мы с горем пополам выбрали себе по костюму. Нынешние обноски походили на наши добротные крестьянские одежды, как те, в свою очередь, на бархатные бриджи и туфли с пряжкой, которые я носил когда-то в Москве. С тех пор, как мы покинули наш родной город, положение наше лишь

ухудшалось. После осмотра и переодевания, отцу приказали распрячь лошадку, телегу же со всем нашим имуществом попросту подожгли. Процессия, окружённая факельщиками долго двигалась в непроглядной темноте. Первым признаком близкого жилья стал лай дворовых псов. — Кем бы они не были, мой друг, живут они как обычные люди. А значит, нам нечего опасаться. — Шепнул отец маман, когда мы входили в деревню. Деревня, обнесённая высоким частоколом по примеру старорусских селений, про которые нам с братом рассказывал наш гувернёр мсье Дюпре, поражала своей бедностью и была совсем не похожа на те русские сёла, которые мы проезжали по дороге в своё имение под Рязанью. Серые, крытые дранкой, выцветшие от непогоды, избы слепо пялились крохотными оконцами, затянутыми бычьим пузырем вместо стекла. Пространство между избами и дворовыми строениями представляло собой жидкое месиво. Тем не менее, это была обычная деревня, где в хлевах мычали коровы, а за водой ходили к общему, одному на улицу, колодцу. Возможно, попади мы сюда при иных обстоятельствах, она могла бы показаться мне даже уютной. Мы вышли на небольшую площадь, полную народа. Наряду с мужиками, здесь были бабы и даже дети. Напряжение, сковывавшее меня, схлынуло, на его место пришла надежда, что кошмарный сон последних дней позади, что все теперь как-то наладится и станет хорошо. Посреди площади, особняком ото всех, стоял высокий старик с длинной белой

бородой и ястребиным носом. К нему нас и подвели люди в волчьих масках. — Здрaвы будьте, люди добрые. Откель путь держите и куда? Каким ветром занесло вас в нашу глушь? — старик говорил ласково, как добрый дедушка, но взгляд, оценивающий нас, оставался холодным. Отец сделал шаг вперед. — Здравствуйте. Погорельцы мы. С Рязанщины. Лавку скобяных изделий держали. Там же, в задних комнатах с детишками и проживали. А как сгорела лавка, собрали уцелевшие пожитки и решили счастья в Сибири попытать. В Иркутск путь держали, да сбились с пути. Не откажите в приюте, будьте милостивы. Детки совсем из сил выбились. Нам бы подкрепиться чем и переночевать, а там мы уйдем. — Хитёр ты, барин. — Усмехнулся старик. — Хитри, да хвост береги. Хитрый Митрий, простоват Ипат. Да только, вашу милость-то издалека видать. И детки ваши, быюсь об заклад, к скобяной лавке-то и близко не подходили за жизнь. По-русски-то разумеют, или все больше по хрaнцузски? Признавайся: из каторжан? Беглые? Не бойсь, не бойсь. Мы, хоть на отшибе, но про вашего брата наслышаны. — Прав ты, старик, признаю. Но мы не беглые. Не ищут нас. Того можешь не опасаться. — Слышали? — обратился старик к народу. — Успокоил нас барин, спасибо. Мы, мил человек, давно ни царя, ни полиции не опасаемся. Есть у нас чего бояться. Али не заметили чего по пути? Отец признался, что заметили и честно поведал историю наших злоключений. — За честность спаси Бог. — Сказал

старик, когда отец закончил свой рассказ. — Беглые вы аль нет, нас ты можешь не страшаться. Здесь иных-то и нет. Кто от гонений на веру в тайгу утёк, кто от барского кнута, а кто и от царского суда. Люд у нас отчаянный, да жить всем охота. А сейчас я вам поведаю, что за напасть пришла в эти края. Началось все около двух лет назад, по зиме. Начали пропадать люди. Сначала не возвращались ушедшие в тайгу одиночки. Потом стали исчезать целыми отрядами, отправившись на поиски или по какой иной нужде. Настало время, когда за частокол, окружавший поселение, и ступить стало страшно. В безлунные ночи что-то выходило из леса, бродило вокруг забора, звало. Некоторые уходили на этот зов. Этих больше никто не видел. Потом появился гул из под земли, который мы слышали сегодня на дороге. Что это за гул — никому не известно. Только с его появлением ушёл весь зверь из тайги. Следом появилась хворь. С заболевшими все происходит ровно так, как случилось с нашими попутчиками: умирает человек в муках, покрытый нарывами, а ночью встает и бродит по тайге в поисках живых. Восставшие подчиняются гулу. И творится такое по всем селениям в округе. Те, кто не совладал с тьмой, пали. Несколько таких вымерших деревень, стоящих вдоль тракта, мы видели своими глазами. Кто поумнее успели, сбежали, подались в чужие края. — Нам, барин, бежать окромя плахи некуда. Вот и стоим. Заразе в меру сил супротивляемся. Так что не обессудь, вас до поры мы в амбаре запрем.

Хворь-то иной раз не сразу признаки дает. Пару дней посидите, а там, глядишь, все слава Богу сложится, так мы вас и выпустим. — закончил свой рассказ старик.***За спинами жителей деревни, бросавших на нас в большинстве своём, если не учитывать людей в волчьих масках, довольно благожелательные взгляды, раздался клекот. Толпа пришла в движение. Расталкивая народ, по направлению к нам двигалась настоящая великанша. Вид её был ужасен. Яйцевидную голову украшали две длинные седые косицы, смазанные, судя по невыносимому запаху, прогорклым смальцем. Узкие глазки великанши, утопленные в мешках набухших век, смотрели тупо и зло. Расплющенный нос занимал большую часть покрытого грубыми шрамами лица. С отвисших сизых губ капала мутная слюна. Одета страхолудина была в грязное рубище из мешковины, подпоясанное обрывком бечевы. Выбравшись из толпы, не переставая клокотать и причитать, жуткая бабища упала в грязь и начала в ней кататься. Первый ряд зрителей опасно подался назад. Бабищу здесь побаивались. Откатавшись своё, великанша встала на четвереньки и поползла к старику. —Аринушка, доню, вставай. Извазюкалась вся, сердешная. — старик помог ей подняться и представил: — Блаженная наша, Арина. Гостей не жалует. На людях показывается редко и по поводу. — он рукавом обтер грязь со щёк бабищи и ласково спросил: — Ты чегой-то разбушевалась? Или дело какое имеешь? Аринушка запричитала ещё громче,

затряслась всем своим богатырским телом, завертелась волчком, а остановившись пошла вдоль людской стены по-собачьи принюхиваясь к чему-то, ведомому ей одной. Видя её приближение, люди ежились, стараясь стать незаметнее и ниже ростом, кто-то пытался скрыться в толпе, но его не пускали, выталкивая назад — в безопасных задних рядах желающих встретиться с Ариной не было. Дойдя до нас, сбившихся в кучу вокруг маман, великанша остановилась и активнее задвигала ноздрями. Наконец, определившись с предметом поисков, вытянула палец с чёрным кривым когтем и, ткнув им в Мусю, сжавшуюся на маминой груди, прошипела по слогам:—Маш-ка. Моя Маш-ка. Толпа разом выдохнула. Маман попыталась спрятать Мусю под полами шерстяной шали. Отец бросился к ним, но не успел, остановленный волчьими масками. Эти маски окружили, оттеснив нас с Мишей, маман, вырвали из её рук вопившую Мусю, грубо отпихнув попытавшую им помешать Груню. Дальнейшее запомнилось мне обрывками. Я помню заплаканное лицо сестрёнки, крики маман, полные невыразимого отчаяния. Помню, как отец бросился вслед блаженной, уносившей Мусю, и как его повалили в грязь и долго били. Помню, как сам кричал, плакал и бился в чьих-то сильных, удерживающих меня руках. Пришёл в себя уже в амбаре, полном сена. Со мной были Миша, Груня и маман. Отворилась дверь, и в амбар закинули бесчувственное тело отца. Время тянулось нестерпимо

медленно. Маман рыдала, не обращая внимания на нас, пытавшихся её как-то утешить. Очнувшийся отец изучал наше узилище. С улицы не доносилось ни звука кроме стука дождя, барабанищего по крыше. Молодой организм взял своё, и я уснул, смиренный усталостью, дождем, мягким ложем из сена. На рассвете дверь отворилась, впустив внутрь серый пасмурный свет. В амбар вошел здоровенный рыжебородый детина. Оглядев нас всех, он поставил на пол ведро с водой. Рядом положил свёрток, обернутый чистой белой тряпицей. Вышел, вернулся с порожним ведром, которое отнёс в дальний угол. Очнувшийся от спасительного забытья, в которое ненадолго провалилась, маман бросилась к рыжему.—Что с моей дочерью? Где она? Детина лишь покачал головой в ответ и направился к двери. Маман упала на колени. —Одно лишь слово, молю Вас! Сжальтесь над несчастной матерью! Она жива? — рыжий кивнул, мол, да, жива. — Здорова? — вновь кивок. — Нам вернута дочь? — детина пожал плечами, заторопился и вышел вон. Отец поспешил поднять маман, принявшуюся вновь заламывать руки, довёл её до сеновала, уложил и начал гладить по голове, как маленькую, шепча ей на французском, с моего места было не расслышать, что именно. Дождь шёл весь день и следующую ночь. Подкрепившись хлебом и водой, мы с Мишей дремали, зарывшись в сено. Отец был неотлучно при маман. Вечером вернулся рыжий. Принёс свежей воды, хлеба и лука, вынес поганое ведро.

На вопросы отца не отвечал, лишь в конце обернулся и открыл рот. Во рту шевелился маленький и гладкий, как обкатанный рекой камень, обрубок языка. Рыжий был нем. Ночью рыдания маман перешли в хрипы, появился жар, сопровождаемый бредом. Отцу едва хватало сил удерживать ее на месте. Груня обтирала лицо своей барыни мокрой тряпицей. Мы с Мишей тихонечко молились в углу. Все это происходило в кромешной тьме. Несколько раз за ночь мы слышали далёкий гул от которого вибрировала земля под ногами. Утром, вместо привычного уже рыжего, провести нас пришла неопрятная толстая баба. Увидев открывшуюся ей картину, бросила ведро и свёрток на пороге и опрометью бросилась назад. Вскоре дверь амбара вновь растворилась и вошли те, в волчьих масках. Двое кинулись к отцу, навалились на него, прижав к полу. Ещё двое схватили бедную маман за руки и за ноги и выволокли на двор под дождь, бросив прямо в жидкую грязь. Нас заперли. Отец кричал и бросался на дверь пока не обессилел. Мы с Мишей тоже кричали и колотили в дверь и стены. Груня плакала и молилась. Когда мы немного успокоились, маски вернулись. Пока один держал отца под прицелом старинного ружья, второй втащил какую-то жаровню, исходившую приторным травяным дымом. Затем наши мучители вышли, оставив нас в покое. Больше в этот день никто не пришел. Утро на Сенатской площади, суд над отцом, казнь его школьных товарищей, лишение

чинов и состояния, долгие месяцы дороги в Сибирь, голод и холод, тракт с толпами бредущих живых мертвецов, волчьи маски, жуткая Аринушка, отнявшая у нас Мусю — все это померкло перед событиями следующей ночи. Ночи, которая впечаталась в память и навсегда меня изменила. Именно в эту ночь нам суждено было познать запредельный ужас и столь же запредельную боль и отчаяние. Не дай Бог какой живой душе почувствовать и пережить то, что уготовила судьба для нас четверых. Дождь перестал, все стихло. Через щели в стенах заструился холодный свет нарастающей луны. С улицы слышался шум множества голосов, прерванный властным окриком. Властный, а судя по всему, им был вчерашний старик, заговорил. До меня долетали лишь обрывки его речи, но и услышанного хватило, чтобы волосы на моей голове встали дыбом. Старик обращался к тёмному божеству, повелителю мертвых из тайги. Увещевал его, заискивающе просил пощадить деревню, не изводить под корень, как другие поселения. — Ты, сокрытый в земле, дышащий гнилью, зовущий в темноте, насылающий мор на скот, высасывающий жизнь из земли, поднимающий спящих вечным сном. Великий Неназываемый, повелевающий чумой и лихорадкой, шепчущий им, куда идти, кого забрать... Я, Фёдор, староста этой деревни, склоняюсь перед твоими безднами. Ты голоден? Сколько душ ты успел вкусить? Сколько детей поглотила твоя ненасытная утроба? Сколько старух, сгорбившись, ушли в могилу раньше срока,

по твоей воле и по твоей же воле восстали из могил, чтобы неприкаянно бродить по тайге? Ты все ведаешь, все видишь. Прими жертву. Насыться от её страданий. Обойди нас, ничтожных своим вниманием. Оставь нам этот клочок земли, о большем не прошу. Оставь нам наши ничтожные жизни. В положенный срок мы все придем под покров твоей тьмы. Прими же жертву. Не трогай нас. Не насылай свои болезни. Не поднимай из могил тех, кому положено лежать в земле. Веруем в тебя, отрекаемся от поповского триединства. — Богохульства, выкрикиваемые стариком были чудовищны. Он умолк, и святотатственные речи сменились богомерзкой песней на неизвестном языке, затянутой десятком голосов. Судя по звукам, толпа пришла в движение. Затрещали поленья, по стенам амбара заплясали алые отблески костра. И тут она закричала. Этот нечеловеческий вой, рвущий барабанные перепонки каждому слышащему его, вой за пределами возможностей человеческой глотки, несомненно принадлежал моей маме. Хрупкой маме с со смехом похожим на перезвон серебряных колокольцев. Маме, ни разу в своей жизни не повысившей голоса до крика. Это моя мама сейчас умирала там, среди чужих людей, изливая нестерпимую боль в этом хриплом вое. А следом моих ноздрей коснулся запах жареного мяса. Жаренного заживо человеческого мяса. — Ты слышишь ее мучения? — крикнул старик. — Ты принял жертву? Пошли нам свой знак. Где-то на краю тайги раздался гул,

будто великан ударил в гигантский подземный колокол. Я лишился чувств.*** Последующая ночь запомнилась мне хаотичными обрывками, фрагментами мозаики, которые я уже позднее выстроил в цепь событий. Приступ безумия у отца, в котором он бился головой о бревенчатые стены и грыз пол, рыдания Груни и Мишины слезы описывать здесь не к чему, ты, читающий эти строки, вполне можешь вообразить, в какую беспросветную бездну горя повергло нас сожжение маман. К рассвету боль не угасла, но силы оставили нас. Одновременно с этим смолк шум голосов гулявшей всю ночь деревни. Лютый люд, населявший её, уgomонился и разошёлся по домам. Я впал в оцепенение, находясь где-то на грани тяжёлого сна и темной яви. Из состояния этого меня вырвал Миша, тронув за плечо. Отец с Груней были чем-то заняты в глубине амбара. Туда-то, к ним, и поманил меня Миша жестом. Пока я пребывал в забытьи, мои родные не теряли времени даром. Памятуя, о том, что деревенские скоро проснуться, а после случившегося, шансов, что нас оставят в живых нет, отец искал и нашёл выход из обстоятельств, в которых мы оказались. В одном месте за сеном, сваленным к задней стене амбара, бревна не очень плотно прилегали к полу, образуя щель. То ли постарались свиньи, свободно гулявшие по улицам деревни, то ли почва осела, размытая дождями, но земля в этой части оставалась довольно рыхлой, чем и воспользовался отец, за несколько часов сумевший вырыть подкоп и расширить его

так, чтобы в него мог пролезть взрослый мужчина. Первой выбралась Груня и помогла нам с Мишей. Последним протиснулся отец. Оглядевшись, он знаком приказал нам молчать и кивком указал сторону, в которую нам следовало бежать. Не встретив никого из деревенских, мы достигли частокола, по крыше сарая кое-как сумели перелезть на ту сторону и скрылись в подступавшей тайге. Светало. Мы продирались сквозь сплетение хвои, перебираясь через овраги и бурелом, не обращая внимания на холод и на боль в расцарапанных ветвями телах. Только, когда тусклое осеннее солнце достигло зенита, отец позволил нам остановиться. Светлый сосновый лес покрывал каменистый склон пологой горки. Тут и там по склону, словно рукой игравшего здесь великана, были разбросаны гладкие валуны в человеческий рост. Естественная стена из таких валунов окружала поляну, которую мы выбрали временным пристанищем. К нашей удаче, кое-где в выемках камней блестели не успевшие высохнуть лужицы дождевой воды. Мы напились и отдышались, согреты солнечными лучами, свободно бившими через кроны сосен. Все мое тело ныло, утомленное бегством по тайге и предшествующим этому бегству событиям. Изможденность мешала думать, путая мысли, накидывая на них липкую серую пелену, в которой я барахтался и тонул. Это было своего рода благом, так как та же пелена отделила меня от воспоминаний о мамином крике и чудовищном запахе жаренного мяса.

Стоило опуститься на подстилку из мха и сухой хвои, как я начал погружаться в сон, из которого меня вырвал голос отца. Тоном, не терпящим возражений, отец сказал, что оставит нас с Мишей и Груней здесь, а сам вернется в деревню, попробует проникнуть в деревню и разыскать Мусю. Бросить её в руках этих страшных людей, поклоняющихся чудовищному божеству, воскрешающему мёртвых, невозможно. Мы должны ждать его на этом самом месте, а если к рассвету он не вернется, идти вдоль русла реки (шум ее доносился из-за горы, у подножия которой мы устроились на отдых) пока не дойдем до города или другого населённого пункта. Там мы должны назвать свои имена и имя нашей московской бабушки. Поручив заботу о нас Груне, заливающейся слезами, отец обнял меня и брата, объявив, что Миша останется за старшего, и я должен во всем ему подчиняться, перекрестил, и ушёл не оглядываясь. Я смотрел на сгорбленную невзгодами спину, мелькавшую между стволов, слезы туманили мой взор. Отец не мог поступить иначе. Ни к рассвету, ни позже он не вернулся. На следующий день, нарушив повеление отца, по его следам ушёл брат Миша. И я снова плакал, провожая его взглядом. Как и отец, назад Миша не пришел. Иногда где-то вдалеке раздавался знакомый уже гул, но мертвецов мы не видели. То ли жертва, принесённая стариком возымела действие, то ли не забредали они в эти пустынные места. От голода и холода мутился рассудок. О том, чтобы идти

куда-то в таком состоянии, не могло быть и речи. Да я бы и не смог уйти, зная, что все мои родные находятся в плену жителей жуткой деревни. Дождавшись, когда Груню сморит сон, я сбежал и долго плутал по тайге. Зарядил мелкий дождь, у меня зуб на зуб не попадал от холода. Смеркалось. Я окончательно заблудился и уже смирился, что умру здесь, в лесу, в отделении от человеческого жилья, как деревья расступились, и я вышел к частоколу, окружавшему проклятую деревню. Я так устал, что уже не боялся, что меня могут схватить, однако какая-то осторожность во мне еще оставалась, и пробираясь вдоль забора, я все же старался делать это не издавая лишних звуков. Все эти предосторожности были излишни. В деревне что-то творилось, я явственно слышал шум множества голосов, крики и даже музыку, если фальшивую игру на расстроенной гармошке можно назвать музыкой. Найдя достаточно широкую щель среди наструганных брёвен забора, я прильнул к ней и замер от открывшейся мне картины. Уже стемнело. Площадь, освещённая несколькими кострами была передо мной как на ладони. У костров собрались все жители деревни. Они ходили от костра к костру, громко переговаривались в ожидании. Вдруг народ расступился, освобождая место для чего-то, скрытого от меня спинами и углом дома. Голоса стихли, заговорил Феодор, старик, встретивший нас в ту ночь, когда мы, спасаясь бегством от армии живых мертвецов, свернули

не на ту дорогу. Старик говорил негромко и недолго. Из всей его речи мне удалось расслышать лишь непонятное "вкусивши плоти избежим проклятия Неназываемого". Дальнейшие слова потонули в восторженном реве толпы. На пустую площадку между кострами выкатили бочку, по-видимому, с чем-то хмельным, так радостно было встречено её появление. По приказу старика был разведён ещё один большой костер. Дальнейшее оказалось кошмаром, который мне снится и поныне. На площадь вывели связанного и раздетого до белья брата Мишу. Толпа осыпала его оскорблениями и насмешками, на которые он отвечал молчаливым презрением. Мишу поставили перед стариком. Старик что-то сказал, обращаясь к нему. Миша отрицательно покачал головой и отвернулся. Как же мне хотелось позвать, окрикнуть брата, чтобы он знал, что не одинок, что я здесь, рядом, но горло сжал спазм. Мишу схватили, сорвали с него белье и окатили какой-то густой жидкостью из чана. А дальше... Нет, я не в силах... Руки мои дрожат, а слезы капают на свиток, размывая чернила. Один из охранников в волчьей шкуре схватил Мишу за волосы, оттянув голову назад, и рассёк ему горло. Второй, вонзив нож в живот, выпотрошил моего брата, как убойную свинью. Мишу насадили на вертел, который поместили над костром и жарили, медленно поворачивая и поливая какой-то темной жижей. Все как один жители деревни, включая баб и малых детей, спокойно взирали на приготовление этого

блюда, пили из бочки, плясали под гармошку и заливисто смеялись шуткам, отпускаемым балагурами. Когда мясо было готово, народ приступил к богомерзкой трапезе. Все по очереди подходили к двум мужикам в волчьих масках и получив свой кусок, приступали к чудовищному причастию. Я готов был перемахнуть частокол, броситься в толпу, драться и погибнуть как вся моя семья, но на плечо легла чья-то тяжёлая рука. Я дернулся и вскрикнул было, но вторая рука зажала мне рот. Меня подняли в воздух и куда-то понесли. Я бился изо всех сил, дрался, но вырваться из стальных объятий не мог. Судя по смолкшим голосам, схвативший, нёс меня не в деревню, а наоборот, удалялся от неё. От слабости и пережитого ужаса я вновь лишился чувств. Пришёл в себя на топчане в темной избе. В печи трещали брёвна. Бурлящий котелок распространял вокруг запах варёного мяса. Меня стошнило, и я опять погрузился в беспамятство. Сколько дней и ночей пребывал я в таком состоянии, мне не ведомо. Иногда я приходил в себя, смотрел на огонь в печи, чувствовал, как в рот мне вливается горький травяной настой, и засыпал вновь. Однажды, очнувшись, я увидел своего тюремщика и спасителя, подкидывающего дрова в печь. Им оказался тот здоровенный немой детина, ходивший за нами в амбаре. Почему он решил спасти меня, зачем ходил за мной, пока я метался в лихорадке — мне не ведомо. Несколько раз я порывался бежать, но немой неизменно ловил и возвращал

меня назад. Наконец я немного окреп. На тайгу опустилась зима. Немой стал брать меня на прогулки и учил ходить на лыжах. Как только мой учитель счёл, что я готов, мы покинули наше лесное убежище и двинулись в сторону Иркутска. Шли медленно, по долгу переживая непогоду в шалашах и землянках, разбросанных по тайге. Иногда нам встречались бродячие мертвецы. Заиндевевшие, покрытые кристаллами льда и ещё более медленные на морозе, особой опасности для нас они не представляли. Чем дальше мы удалялись от деревни, тем реже происходили такие встречи. За время похода я одичал и отвык от звука человеческой речи. К апрелю мы пришли в Иркутск. Явились к древним дверям Иркутской Вознесенской обители как обычные странники и попросились на постой. Мой немой спаситель, носивший имя Савелий, остался при монастыре плотником и вскоре остригся в монахи. Меня же сочли его сыном, усмотрев даже некоторое фамильное сходство наших черт, и определили в местную школу. Мои попытки рассказать свою историю ни к чему не привели, лишь создали мне славу слегка тронутого умом фантазера. Ещё через пять лет, закончив обучение, я отрёкся от мирской жизни, принял постриг и взял имя Онуфрий в честь великого Святого Онуфрия Эфиопского, посвятившего свою жизнь борьбе с нечистым. Вёл тихую жизнь инок при обители, пока в 1859-м году не принял великую схиму и обет молчания. С этим удалился в тайгу, выстроил себе хижину и проводил

время в постах и молитве вдали от людского шума. Я верил, что лишь сила молитвы способна сдерживать зло, затаившееся в сердце тайги. Зло ушло, как и не бывало, но могло вернуться в любой час. Со временем молва о старце, живущем в тайге, распространилась далеко за пределы Сибири. Чудес я никогда не творил, но людская натура склонна верить в невозможное, и мои молитвы стали считаться чудотворными. Люди ехали за сотни вёрст чтобы помолиться со мной на поляне среди вековых кедров и получить благословение молчальника. Кто-то приезжал с дарами, везли одежду, еду и даже деньги. Я отказывался, но постоянно находил эти подношения у крыльца своей хижины. Еду и одежду раздавал нищим, деньги же употреблял на поиски информации о проклятой деревне, где сгинула вся моя семья. Наконец настал час, когда я получил письмо с подробным описанием нахождения искомого мною места. Подпоясавшись, я сунул хлеб в котомку, взял посох и вышел из хижины. Дорога вела меня к тракту, по которому мы когда-то ехали из Москвы в одном обозе с кандальниками. Воспоминания нахлынули и стерли годы, проведённые в монастыре. Ко мне вернулись ночные кошмары, оставленные в далеком отрочестве. Годы сильно изменили деревню, но несомненно это была она. Исчез окружавший дома частокол, исчезли люди-волки. Грязь и бычьи пузыри в окнах, впрочем, остались прежними. Я шел по улице и бывшее вставало передо мной, затмевая свет

дневного светила. По улице пронёсся крик:—Машка идёт! Кликуша! Машка Бесноватая идет! Бабы забежали, пряча детишек. Захлопали, закрываясь двери изб. На другом конце улицы показалась тощая женская фигура, обряженная в грубое рубище из мешковины. Я замер, глядя во все глаза на приближающуюся женщину. Это была почти старуха. На истощенном до невозможности лице выделялись ясные серые глаза. Не дойдя до меня несколько шагов, она упала и задергалась в судорогах. На тонких губах выступила розовая пена. Поражённый, не смея двинуться с места, я смотрел на эти губы, лицо и костлявые руки. Каким же потрясающим было это сходство! Белокурые пряди в седых волосах, чистый покатый лоб, бездонные серые глаза в точности как у бедной маман. Сомнений быть не могло. Передо мной на грязной изъезженной деревенской дороге билась в припадке дочь графа Сергея Олемского и Софьи Салтыковой, столбовая дворянка и моя сестра, несчастная Муся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.